

ВОСТОК

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, НАУКИ И ИСКУССТВА

КНИГА ТРЕТЬЯ

**«ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — 1923 Г. — ПЕТЕРБУРГ**

С Е З А И

КЮЧЮК ШЕЙЛЕР

Сами - паша - заде Сезаи один из наиболее типичных представителей западнического течения среди новейших османских писателей. Западные, точнее, французские влияния у него проникают в самую глубину, в самую структуру произведений. В противоположность более старым османским авторам, рабски подражавшим западной литературе во всем вплоть до выбора сюжета, он, оставаясь по затрагиваемым темам истым османцем, стремится углубить и расширить горизонты османской литературы, внося в нее доведенный иногда до необычайной остроты психологический анализ. Своим первым романом «Приключенье» (Сергюзепт, 1887), описывающим страдания и трагическую гибель молодой рабыни - черкешенки, он сразу занял выдающееся положение среди своих собратьев. Один из восточных критиков, говоря об этом произведении, утверждает, что если в нем и есть недостаток, то разве тот, что оно слишком изящно. За «Приключением» последовал ряд небольших новелл под общим заглавием «Пустячки» (Кючюк шейлер, 1891), из которых взяты и предлагаемые здесь рассказы. Повидимому, политика отняла Сезаи у литературы: член младотурецкого комитета, он в 1908 г. был назначен послом в Испанию и с тех пор прекратил литературную деятельность.

Е. Б.



I

КТО ЭТОТ ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК?

В те времена я имел привычку, покончив в большом, вмещавшем сто человек, конаке моего отца, с заданными мне уроками, ходить пешком от Эксер-Таша к мечети Баязида. Во время этих обычных вечерних прогулок я постоянно встречал какого-то человека. Его небрежно запущенные волосы падали на широкий лоб, он шел колеблющейся поступью, в глубокой задумчивости, зачастую спотыкаясь и с трудом удерживаясь на ногах. Как-то раз я спросил самого себя: «Кто этот великий человек?»

Эта мысль, этот вопрос появился у меня не беспричинно. Я находил, что весь облик и манеры этого человека вполне подходили к описаниям и изложениям французской книги, озаглавленной «Жизнь великих людей», которую я в те дни читал с нашим учителем. По большей части он спу-

скался от Лалели Йокуша к Ак-Сераю, устремив в небо свой взор, выслеживавший, как я думал, какое-нибудь научное открытие или созердавший какое-нибудь литературное чудо. Его широкое одухотворенное чело казалось озаренным небесным светом. Нельзя отрицать всей важности физиономистики. Разве похожи взор ученого, устремленный на истинную сущность вещей и взгляд поэта? Во взгляде первого, устремленном на установление сущности, замечается лишь небольшое колебание, беспокойный взор второго устремлен на несравненное небесное видение, в нем чувствуется грусть и смятение. Посмотрим же с точки зрения физиономистики, на ком из двух остановить выбор, на поэте или на ученом. Разве седая голова ученого, словно покрытая нетающими ни от каких жаров снегами горная вершина, не кажется бесстрашной, холодной и великой? Разве голова поэта не похожа на горную вершину, всегда окруженную туманами и облаками?.. Так рассуждал я в детстве.

Глаза этого человека полные притягательной силы были постоянно устремлены на самую возвышенную точку, и я ни разу не видел, чтобы он взглянул на лавки молочника или табачника, посмотрел на переулки Ак-Серай или склонил голову и раскланялся с кем-нибудь.

Но кто это был? Виктор Гюго? или Жан Жак Руссо? Вот в чем вопрос.

Постепенно я начал убеждаться в том, что это Жан Жак Руссо. Ибо голова этого чуждавшегося людей ученого, никому не кланявшегося и ни с кем не разговаривавшего, постоянно премудро высилась за спинами Чингираклийских и Гомюрджинских верблюдов, шествовавших по трамвайным рельсам.

Над челом сего мужа победным огнем
Светят мудрости звезды и ночью и днем.

Быть может в те дни он ходил за верблюдами, занимаясь каким-нибудь исследованием, относящимся к области естественной истории. И верблюд— этот неутомимый странник огненной пустыни, гробницы всего живого, этот суровый друг всех народов, обитающих в пустыне, по временам поворачивал с присущей ему значительностью свою длинную шею и разглядывал великого человека внимательным взором.

Как-то раз я увидел на Лалэли необычное скопление народа, услышал чьи-то крики и возгласы и вмешался в толпу.

Оказалось, что мой великий ученый с величайшим пылом и необычайной резкостью кричал на столпившихся невежд. Великий человек был в великом раздражении. Какое величие! Какое величие! Он в это мгновение приобрел странную мрачную величавость взволновавшегося океана.

— Глупы вы, вы не люди, не понимаете человечности... Разве вы не видите, что я иду здесь? Чего вы лезете и толкаетесь? Разве вы не скверные невежды?— кричал он на окружающих.

Какой-то человек в толпе, особенно много разглагольствовавший и бранившийся, воскликнул:

— Ты-то и есть самый болван! — В это мгновение терпение и спокойствие великого человека лопнуло. Он схватил обидчика за горло, тот уцепился ему за ворот.

«Он на меня, а я на него напал, народ толпою за нами, смеясь, бежал; весь мир, дивясь нашей речи, изумления палец в зубах держал».

Я вместе с толпой пошел за ними следом. Так они шли некоторое время, затем люди вмешались и освободили науку от когтей невежества.

Великий человек оправил свой разорванный ворот, одел валявшуюся в грязи феску и в таком плачевном виде скрылся в свой дом, это гнездо науки, в одном из темных переулков Ак-Серая. Это зрелище невольно наполнило меня состраданием. Когда великий человек со страхом и смущением закрыл свою дверь и скрылся, я молвил: «Величайшие произведения ученых и поэтов были написаны в порыве отчаяния и гнева...»

Разве одно из произведений Виктора Гюго, разве «Эмиль» Жан Жака Руссо были написаны не в такую минуту? Кто знает, каким великим произведением, относящимся к области науки и общественного воспитания занят сейчас этот человек, жаловавшийся на невежество толпы. Разве из тьмы этого переулка не может взойти солнце знания? Вероятно, он был занят этими важными работами, ибо долгое время я с ним нигде не встречался. Если память не обманывает меня, через двадцать дней я увидел его. Он сидел в лавке у табачника, тот читал ему какую-то бумагу, а великий человек с величайшим напряжением и вниманием слушал. Я направился туда, но когда я подошел, великий человек вышел.

— Что ты такое читал этому великому человеку? — спросил я.

С тех пор прошло много лет, но и теперь еще ответ табачника не выходит из моей памяти:

— Это не великий человек. Он среднего роста. Он постоянно приходит ко мне и просит прочитать ему письма с родины. Он не умеет ни читать, ни писать.

II

КОШКИ

— Ханум! В последний раз я требую ответа. Я или кошки?

— Кошки!

Приведенный разговор обозначал отчаяние мужа, ветренность жены, крушение брачного покоя, выстроенного на свежем лугу, на основании из розовых побегов, защищенного от беспокойного, вызывающего томление воздуха светлыми стеклами, украшенного тюлевыми занавесками.

— Кошки! Так. Значит плод тридцатитрехлетнего дружного сожительства, разрешение загадочного слова «брак» — этот ответ?

Эти влюбленные уста тридцать три года тому назад, за время первых месяцев брачной жизни были верным залогом вечной любви и постоянной страсти. И теперь они жертвуют им ради кошек, ради пустой прихоти,

лишенной какого бы то ни было смысла. Такой ответ поразиł его человеческое достоинство, потряс его семейное положение, и он принял твердое непоколебимое решение повести себя так, как этого требовал данный момент. Несчастный супруг. Неприятности и беспокойство от двадцати четырех кошек, собранных женой в его доме, довели его до полного изнеможения. Они бродили по дому с гораздо более заносчивым видом, чем сам глава его, и смотрели на хозяина с презрением и насмешкой. Эти горделивые животные завладели всеми диванами, спали на мягких креслах, в холодное время собирались у огня, зажженного хозяином, чтобы погреться, кричали в коридорах и комнатах своими раздражающими слух голосами. С каждым днем они становились все наглее, размножались и не оставляли этому человеку ни единого места в доме, где бы он мог отдохнуть.

Как то утром Джиакомо встал очень рано и, желая спокойно позавтракать в своем собственном мире, поднялся наверх в маленькую комнату. В это время он услышал, что на улице плачут какие-то дети, и высунул голову из окна. Поняв, что до его сострадательного слуха донеслись только звуки пререканий и препирательств кошек, он, досадуя на свою ошибку, снова сел на стул. Когда он садился, его лицо, — крайние точки которого, нос и подбородок, были отклонены назад, — и его большие немного выпуклые глаза приняли испытующее выражение, и он с изумлением несколько раз оглянулся по сторонам. Одна из кошек украла его хлеб, другая вышила его кофе с молоком и разбила стоявшую на другом конце стола чашку. С отчаянием и смятением он воскликнул про себя: «Кому жаловаться! Несомненно, жена станет на сторону этих заносчивых, неверных, неблагородных животных! Вот уж, действительно, кошачья хозяйка!»

Его планы на этот раз были разбиты и уничтожены; озлобленный он уселся у окна, подперев голову рукой. Вон, там, внизу, — выпившие его кофе, укравшие его хлеб, разбившие его чашку, лишившие его утреннего «кейфа» — кошки, отнимающие у него в его же доме отдых и покой. Они греются на солнце, шерсть у них местами черная, как черное дерево, местами белая как снег, с желтыми пятнами, но яркие блестящие глаза каждую минуту и каждую секунду меняют свой цвет и окраску и напоминают собою радугу. Они подносят к мордочке переднюю лапку и умываются с женской кокетливостью. С чистой совестью они переваривают утренний кофе и готовятся к завтраку.

Распущенность этих прожорливых животных, которых хозяйка дома предпочитала ему, привели его в ярость. Он вышел в коридор. Там на верхней ступеньке лестницы сидела белая кошка, ее морда, усы, голова были выпачканы в чем-то черном.

— Ах, это ты вышила мой кофе! Ты разбила мою чашку! Так.

Джиакомо взял из своей комнаты палку и начал медленно на дышочках подбираться к кошке. Представился удобный случай, ему хотелось отомстить, как следует, и он выбирал самое чувствительное место для удара. Он поднял палку. Кошка зашевелилась. Она убежит! Он с силой ударил, но проворная кошка тотчас же вскочила на ноги и со страшным шумом скатлась

вниз по лестнице. Хозяин ударился о перила и жаловался на боль, когда перед ним предстала его лучшая половина, его супруга, и сурово — заметила: — Разве можно так бить кошку? А если б ты убил ее?

Несчастный в ярости воскликнул:

— Я тебе покажу?, — и пошел в свою комнату.

Жена последовала за ним и спокойно мягко осведомилась:

— Что ты сделаешь? Что ты можешь сделать? Будь любезен скажи, я, по крайней мере, буду знать!

На его большие глаза навернулись слезы, закрывшие разноцветную красоту дня, он смотрел сквозь слезы, как сквозь стекла, на свою жену, на лице которой прошедшие шестьдесят лет оставили свои следы и знаки.

— Что я могу сделать! Я обращаюсь к правосудию властей! Обвиню твоих кошек в покраже съестных припасов, порче имущества и захвате чужой квартиры. Посмотрим, увидишь ли ты здесь тогда хоть одну из этих мерзавок и мошенниц!

Он одел пальто и шапку. Открыл дверь так, словно хотел сломать ее, и вышел из дому.

* * *

Каймакам-бей-эфенди не понимает резонных доводов.

Джакомо, этот знаток музыки, итальянец, ведущий свой род от благородных потомков Россини, ищет защиты и справедливости. Несчастный муж взывал о справедливости, старался разъяснить истину перед его неповоротливым разумом. Он поднимал руки, словно делая гимнастические упражнения, проделывал энергичные движения, которые могли бы вызвать зависть у персидского актера, но убедился, что все это напрасно. Тогда, с отчаянной резкостью, он выкрикнул каймакаму островов бею-эфенди:

— Вас интересуют брови, глаза, походка, одежда каждой женщины, почему же вы отказываетесь вмешаться в мое дело и прекратить неуместную страсть моей жены к этим вредным животным? — и пошел домой.

Когда он возвратился, жена испугалась, не привел ли он в осуществление свои угрозы, и покачивая своей трясущейся шестидесятилетней головой, кокетливо прищуриив один глаз, сказала:

— Будь доволен, что я люблю кошек! Разве было бы лучше, если б я любила вместо них молодых людей...

Ее большое лицо было покрыто морщинами, щеки пожелтели, глаза от улыбки скосились. В ее тусклом взоре среди тени глубоких орбит вспыхнуло пламя, и, казалось, что этим кокетливым приемом она хотела принудить мужа признать ее права.

В этот вечер она легла в постель не говоря ни слова. Слова были излишни... эта улыбка, эти любовные движения, это кокетство, эта ласка успокоили отчаяние и резкость мужа. Он улегся в кровать и решительно протянул ноги, но в это мгновение почувствовал, что его чрезвычайно больно ошарапал. Он с испугом поднял одеяло и посмотрел большими

глазами. Кошка! Та самая белая кошка, которая утром вышла его кофе! Поистине, эти несносные животные, вероятно, были сторонниками общности имущества и жен, потому что несчастному не было места даже на его супружеском ложе. Эти кошки, не дававшие ему ни минуты покоя в его доме, в конце концов отняли у него и жену.

В полночь он принял твердое решение. Рано утром встал, сложил в сундучок все свои пожитки и спустился вниз. Одел пальто и шапку и сел на завязанный веревками сундучок. В это мгновение он и задал вопрос: «Я или кошки?» и тогда же получил отчаянный ответ: «Кошки!»

Прощай! прощай! Он вышел с тем, чтобы никогда больше не возвращаться. Грустный, задумчивый, он прошел через базар, состоявший из нескольких домишек и лавченков. В переулке играли вместе несколько детей нищеты. Они были босиком, и тело просвечивало сквозь их лохмотья. Он посмотрел на них, хотел подать им милостыню и с этим благородным намерением перерыл все карманы, но ничего не нашел и пошел дальше. Немного далее в темном углу кабачка находилось latrina, озаренная светом этого светильника, зажженного блестящей фантазией восточных поэтов. Она приводила в смятение все население острова.

Неподалеку от кабачка и латрины было много народу, и кто-то пел песню, сопровождающую танцы, — песню, которую поют невесты, обращаясь со страстным призывом к своим милым:

«Джорджи, Джорджи, Джорджаки му!
На се харо, пулаки му»¹⁾).

Они как будто насмеялись над его положением, его отчаяньем и грустью. Джанакомо пошел дальше, внимательно всматриваясь во все стороны, устремляя взор на дивные красоты природы и с беспокойством выискивая убежище, где бы можно было провести эту ночь. Была чудная погода, ветра не было, Мраморное море было лазоревым.

Он не вернется более, это решено! он порвал тридцатитрехлетние брачные узы и остался один. Разве это одиночество не печально? Совсем один перед этим безбрежным морем, бесконечными горизонтами.

Даже небо с состраданием и сочувствием смотрело на него своими лазоревыми глазами. Он шел по дороге, спускавшейся вниз, окаймленной пиниями, во всякое время года сохраняющими свою свежую зелень. С другой стороны лежало море, чуть-чуть взволновавшееся, словно голубой атлас с небольшими складками. Он шел погружившись в глубокие размышления, направляясь к морю, но, увидев кошку, изловчившуюся, чтобы поймать рыбу, изменил путь и начал подниматься вверх. Он устал. Солнце, эта возлюбленная Востока, распустило по беспокойной поверхности моря свои светлые волосы, провело светлые дороги, золотые следы, приводило в любов-

¹⁾ По-новогречески:

«Жоржик, Жоржик, Жоржик мой! .
Я хотела бы насладиться тобой, моя птичка!»

ное волнение видневшиеся вдали горизонты. Долгое время он провел в восторженном состоянии, вызываемым красотой моря, затем разбивающая фантазии рука действительности потрясла его и пробудила из бессознательного состояния. Время шло, близился вечер. Он твердо решил не возвращаться домой. Но откуда достать ужин? Куда пойти вечером? Где провести ночь? Жизнь не мирилась с его решением. Ведь и утром он не получил настоящего завтрака. Ему начал мерещиться пар от завтрака, который сегодня принесла и поставила на стол жена. Он сидел на берегу моря, любуясь видом. Волны тихонько плескались у берега и, казалось, говорили: «Ступай, ступай, к жене ступай!» А кошки!.. да кроме того, разве жена не сказала ему: «Будь доволен, что я люблю кошек. Разве было бы лучше, если б я вместо них любила мужчин»...

Его одиночество, его покинутость еще увеличилась от доносившихся до него издали петушиных криков, говоривших: «Ступай, ступай, к жене ступай!» Зазвонили колокола в церквах, возвещая вечернюю службу. Звон далеко разлетался среди этого спокойствия и тишины, и все они в один голос, одним напевом повторяли: «Ступай, ступай, к жене ступай!»

Он встал и пошел обратно.

Он вероятно отказался от принятого решения. То появляясь, то скрываясь среди пиний, он быстро шел по направлению к дому. С задумчивым лицом, в расстроенном состоянии он вошел в дом и, ничего не говоря своей подруге, поднялся к себе в комнату. Опустился на диван и заплакал навзрыд. Жена мягко и осторожно открыла дверь:

— Не плачь так громко. Что ты, хочешь напугать моих кошек, что ли?

III

ПАНТОМИМА

Трехэтажный стоявший в глухом переулке дом, как могла, был окружен вечным молчанием. Он был забыт и брошен... С чердака срывалась доска, с крыши падала черепица, со стены скатывался камень, и годами оставались они лежать на том же месте. Иногда старая уродливая гречанка, со свойственной ведьмам мрачной молчаливостью, выходила из дому закупала и добывала все, что было нужно для домашнего хозяйства, потом возвращалась назад и снова исчезала. В маленьком садике, около стены стояло большое дерево. Когда пламенное июльское солнце сжигало и палило эту часть Стамбула, начинал дуть свежий ветерок, скрывающийся в листе этого дерева, и оно, как большой зеленый веер, освежало и очищало воздух вокруг дома. В дом никто не приходил, в нем никогда не было слышно голосов, редко были видны люди... во всем уединенном переулке единственным проявлением жизни было это дерево... Когда приходила весна, оно одевало убор из цветов, украшало себя весенней листвой.

Среди ветвей и листьев этого дерева вили себе гнезда пернатые: они влюблялись в небесах, зачинали в воздухе, рождали среди листвы. Они порхали в лучах солнца. Все сразу улетали, опускались среди далеких полей, затем опять возвращались в свое земное царство. Эти отлучки и возвращения, эти любовные игры, это перепархивание и взлеты придавали дереву видимость постоянного беспокойного движения.

Как-то раз летом, в пятницу, в полдень, из дома вышел человек с мешком под мышкой. Он старательно запер за собой дверь и пошел по дороге. Плечи и спина его сзади казались довольно широкими, так что он производил впечатление плотного человека. Ему было около тридцати трех лет, у него были крепкие не слишком короткие ноги. Казалось, что ему было трудно нести по мостовой свою ношу в ту сторону, в которую было нужно. Он удалился по переулкам, и тишина понемногу восстановилась. Стал слышен стук колес телеги, проезжавшей по мостовой в отдаленном квартале, из дома с разбитыми стеклами и сломанными рамами послышался плач нескольких детей. Изредка налетал горячий ветер, подымал пыль и отравлял этим блестящий, сверкающий день.

Человек задумчиво, печально шел по отдаленным кварталам, по пустынным переулкам, шел смешить людей.

Прошло полчаса после того, как он покинул свой дом и добрался до Ени-Багче, этого остатка средневековых загородных садов.

Против сада находилась земляная площадка, окруженная развалившимися стенами, каждый камень которых был разрушен долгими годами. Он сорвал несколько жалких, полуувядших цветов, как будто выросших в одну из прежних весен — несколько лет тому назад — и позабытых осенью в этом заброшенном углу. В стенах зияли большие голубые просветы, через которые поспешно вылетали ласточки и другие птицы, касаясь крыльями вершины старого замка. Он послушал крик этих птиц, напоминавший древнюю византийскую музыку. Затем он прошел к досчатой постройке, возведенной рядом с разрушенным замком, посреди поперанного веками величия, и подпертой большими бревнами для того, чтобы она не развалилась.

На дверях этого домика была привешена доска, на которой большими черными буквами по белому фону было написано такое объявление:

ПАНТОМИМА ЗНАМЕНИТОГО ПАСКАЛЯ

Здесь каждую пятницу и каждое воскресенье знаменитый ПАСКАЛЬ дает забавное и смешное представление.

Для приобретения благосклонности почтеннейшей публики ПАСКАЛЬ каждую неделю будет показывать на подмостках театрального искусства новые пиесы.

Паскаль — это был он сам. Он вошел в дверь своего театра, раскрыл мешок и облекся в широкие обычно одеваемые клоунами белые

штаналоны, белый кафтан с кружевным воротником и остроконечную белую шапку. Затем он подкрасил лицо, подвел нижние веки своих черных лягушачьих глаз и через час выступил перед пустыми мозгами и беззаботными сердцами публики и начал среди громкого смеха и одобрительных возгласов свое «театральное представление».

В этот день он проявил всю свою ловкость, все умение, и дела шли как нельзя лучше. Потолок из парусины раскачивался во все стороны от ветра и освежал воздух в помещении, солнечные золотые пылинки проникали на подмостки и образовывали пыльный столб. При звуках музыки, напоминавшей жужжанье насекомых, играющих в лучах солнца, танцевала старая женщина. Черты старости уже были видны на ее лице, вымазанном румянами, ее тело, состоявшее из гор мяса, свисавшего в разные стороны от усиленных и томительных движений танца, было затянуто в канареечно-желтое атласное платье.

По ходу пьесы Паскаль влюблялся в эту женщину, при объяснении в любви высовывал язык, кувыркался в знак благодарности за внимание, и все это заставляло много смеяться собравшую публику. Один из зрителей стоял, прислонившись спиной к качающейся подпорке, доставая головой до самого парусинного потолка, и, с сигарой в зубах, смотрел на представление.

— Ловко Паскаль высовывает язык, — говорил он: — человек может лопнуть со смеху, глядя на это.

Это подтверждало большинство зрителей, сидевших вокруг на маленьких скамейках.

В ложе около самой сцены молоденькая девушка заливалась невинным, детским смехом, успокаивающим все жизненные печали. На ее розовых губах светилась улыбка, похожая на птичку, весело порхающую, взмахивая крылышками, — она хлопала своими нежными ручками, аплодируя Паскалю.

Ее звали Афалия, ей было двадцать лет. Каждую неделю она приходила со своей старой матерью в эту ложу.

— Разве тебе там так весело, дочурка? — спрашивала ее мать. На это дочь всегда отвечала, что Паскаль похож на ее любимую собачку, околевшую незадолго до того, что он напоминает ей обезьяну и что с тех пор, как она увидела его, он всегда доставляет ей удовольствие.

Паскаль всегда стремился потешить эту постоянную посетительницу его театра, любительницу зрелищ, и зачастую во время игры подходил к ней поближе, выискивая удобный случай, и падал возле ее ложи.

В этот день, одетая в белое платье, как бы окруженная улыбками утра, девушка в знак насмешливого одобрения бросила ему из ложи цветок.

Цветок попал Паскалю в лицо и грудь. Он схватился рукой за сердце и издал горестный вопль, как хищное животное, раненое в самое нежное место. Несколько минут спустя он уселся на землю за сценой и в то время, как хохот развеселившейся публики еще продолжался, горько зарыдал.

Слезы текли по его лицу, смывая краску и румяна и падали на разрушенные камни развалившихся стен.

Несчастный Паскаль любил прекрасную Афдалию.

Однако он хранил эту любовь в самом потайном уголке своего сердца, не говорил о ней никому, не сообщал о ней и старой служанке дома, которая раньше посвящалась во все секреты, даже сам наедине не решался думать о ней. Он никому не доверял, ни на что не полагался, страшился любовного образа, скрывавшегося в его уме и придававшего ему жизненные силы. Во всю его жизнь он не добился ни одного ласкового взгляда от женщины, никогда не видел нежного обращения. От него ждали только шутовских выходок и вот, теперь, когда в отчаянии он задыхался от слез, когда он изнывал от тоски и печали, все громко смеялись.

Да, он никому не решался говорить, даже думать не решался.

Представление кончилось. Настал вечер. Он снова забрал под мышку свой мешок и медленно пошел домой той же дорогой, которой пришел.

Посреди пути он в каком-то нервном состоянии почувствовал, что кто-то идет за ним следом, что нечто неизвестное устремило на него свой взор, желая разглядеть прекрасную Афдалию, скрытую в тайниках его духа... В волнении он осторожно обернулся. Месяц, третья сверкающая четверть его, показалась над высоким куполом Айя София, и первые лучи его озарили уединенный переулок. Он пошел домой, поел немного и поднялся в свою комнату. Некоторое время спустя он открыл двери, посмотрел, не бродит ли кто-нибудь по пустому дому, высунул голову в окошко, убедился, что и в переулке никого нет, и начал думать о прекрасной Афдали.

Почему она сегодня во время представления смеялась больше обыкновенного... странно... Он вынул из за пазухи цветы, с религиозным почтением поцеловал его и поставил на самое видное место в комнате.

— Эти цветы, ах, эти цветы... они убьют меня!

Если она согласится... он украсит комнату горшками и цветами, он посадит прекрасную Афдалию на это место... он встал и сел на пороге комнаты. Сколько забавных историй он расскажет ей, все ночи он будет смешить ее.

Вероятно большие черные глаза, днем со смехом глядевшие на него, еще больше опьянили его.

Если б сейчас она вошла в комнату... как идолопоклонник перед богиней красоты, он склонил голову до самой земли... долгое время он пробыв в таком положении, затем поднял голову, словно пробудившись от полного дивных видений сна. «Ах, урод, урод... скоморох...» и разрыдался.

Пока он был погружен в эти долгие фантазии, на большом дереве зачирикали птицы. Настало утро. Без сил он упал в углу комнаты.

* * *

Как скоро пролетел этот месяц, и какие грустные вести принес он с собою. Афдалия, две недели не посещавшая его театра, вышла замуж. В этом доме многие годы не было слышно ни малейшего звука, а теперь оттуда доносились чьи-то рыдания.

В одну из пятниц несчастный Паскаль смешил Афадалию, явившуюся в ложу вместе со своим мужем. Затем, чтобы не выдать своих страданий, он склонил голову, поспешно пошел домой и заперся в комнате.

Утром, после полудня, старая гречанка колотила в его дверь, словно желая разбить ее, но ответа не было. В страхе и смятении она взломала дверь вместе с собравшимися со всего квартала людьми и вошла в комнату. Не успев войти, все сразу расхохотались. Паскаль изображал повешенного и со своим прославленным искусством высывал им язык.

В жизни своей всех смешил несчастный Паскаль и в смерти никого не заставил плакать. Но на этот раз это было не подражание, это была правда, — страшная, как сама смерть.

Перевел с турецкого

Е. Бертельс

